

Александр Степанович Грин

Шапка-невидимка



Александр Степанович Грин

Шапка-невидимка

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=22120826

Аннотация

«Измученный и полузадохшийся, дрожа всем телом от страшного возбуждения, Геник торопливо раздвинул упругие ветви кустов и ступил на дорожку сада. Сердце неистово билось, шумно ударяя в грудь, и гнало в голову волны горячей крови. Вздохнув несколько раз жадно и глубоко, он почувствовал сильную слабость во всем теле. Ноги дрожали, и легкий звон стоял в ушах. Геник сделал несколько шагов по аллее и тяжело опустился на первую попавшуюся скамейку...»

Содержание

В Италию	4
Случай	17
На досуге	30
Любимый	37
Гость	45
Конец ознакомительного фрагмента.	51

Александр Грин

Шапка-невидимка

В Италию

I

Измученный и полузадохшийся, дрожа всем телом от страшного возбуждения, Геник торопливо раздвинул упругие ветви кустов и ступил на дорожку сада. Сердце неистово билось, шумно ударяя в грудь, и гнало в голову волны горячей крови. Вздохнув несколько раз жадно и глубоко, он почувствовал сильную слабость во всем теле. Ноги дрожали, и легкий звон стоял в ушах. Геник сделал несколько шагов по аллее и тяжело опустился на первую попавшуюся скамейку.

Те, кто охотились за ним, без сомнения, потеряли его из виду. Быть может – это было и не так, но так ему хотелось думать. Или, вернее – совсем не хотелось думать. Странная апатия и усталость овладевали им. Несколько секунд Геник сидел, как загипнотизированный, устремив глаза на то место в кустах, откуда только что вылез.

В саду, куда он попал, перескочив с энергией отчаяния высокий каменный забор, было пусто и тихо. Это был

небольшой, но густой и тенистый оазис, заботливо выращенный несколькими поколениями среди каменных громад шумного города.

Прямо перед Геником, за стволами деревьев на лужайке красовалась цветочная клумба и небольшой фонтан. Шум уличной жизни проникал сюда лишь едва слышным дребезжанием экипажей.

Надо было что-нибудь придумать. Огненный клубок прыгал в голове Геника, разворачиваясь и снова сжимаясь в ослепительно блестящую точку, которая плыла перед его глазами по аллее и зеленым кустам. Напряженная, почти инстинктивная работа мысли подсказала ему, что идти теперь же через ворота, рискуя, вдобавок, запутаться на незнакомом дворе, – немислимо. Сыщики гнались за ним по пятам и только после двух его выстрелов убавили шаг. Он вбежал в первый попавшийся двор, перепрыгнул стену и очутился в пустом, незнакомом саду. Он не знал даже, выходят ли ворота этого двора на ту улицу, где он оставил погоню, или же на противоположную. Но даже и в этом случае его положение было сомнительным. Квартал, наверное, был уже оцеплен.

Геник вынул револьвер и сосчитал патроны. Было семь – осталось три. Двумя он очень убедительно поговорил с городовым, побежавшим за ним. Служака растянулся лицом книзу на пыльной, горячей мостовой. Две прожужжали мимо ушей сыщика. Осталось три... Трех было очень мало...

Беспокойные мухи назойливо гудели вокруг, садились на

лицо и глаза, раздражая своим прикосновением пылающую кожу. Откуда-то донесся стук ножей, запах кухни и звонкая перебранка. Нервно кусая губы и машинально рассматривая носки сапог, Геник пришел к заключению, что, пожалуй, самое лучшее для него теперь – это забраться куда-нибудь в дровяной сарай или конюшню, предоставив дальнейшее случаю...

II

Когда он поднял, наконец, глаза, маленькая девочка, стоявшая против него, рассмеялась тихим смехом. Ее руки кокетливо прятались за спиной, и светлые карие глазки в упор смотрели на незнакомца.

Есть в человеческой психике что-то, что иногда в самые важные моменты нашей жизни вдруг неожиданно направляет мысли очень далеко от текущего мгновения. Особа, стоявшая на дорожке, вдруг напомнила Генику что-то, несомненно, виденное им... Он прогнал муху, приютившуюся над его бровью, и разом поймал ускользавшее воспоминание...

...Маленькая лужайка в густом парке, окруженная сплошной стеной маличника, бузины и высоких, шумящих деревьев. Снопы света падают почти вертикально из голубой вышины. Густая трава пестреет яркими головками лесных цветов...

Это было доисторическое время, когда земля кипела на-

рядными бабочками, стрекозами с прозрачными крыльями, невыносимо серьезными жуками, царевичами и трубочистами. Жить было недурно, только прелесть жизни часто отравляла особая порода, именуемая «взрослыми». «Взрослые» носили брюки навыпуск, ничего не знали (или очень мало) о существовании разрыв-травы и важнейшим делом жизни считали уметь есть суп «с хлебом»...

Все это – лужайка, мотыльки и взрослые – сверкнуло и исчезло. Жгучая, острая тоска затравленного зверя сдавила Генику грудь, и он гневно скрипнул зубами.

Сделав два шага по направлению к скамейке, на которой сидел Геник, девочка устремила на него улыбающиеся глаза и произнесла полузастенчивым, полурадостным голосом:

– Здравствуй, дядя Сережа!

– Здравствуй, – ответил Геник, машинально поворачивая в кармане барабан револьвера.

– А ты почему не приехал завтра? – продолжал ребенок, испытующе поглядывая на дядю. – Мама тебя очень бранила. Она говорит, что ты какой-то деревянный!

– Мама пошутила, – медленно и внушительно сказал Геник. – Она думала, что ты умная. А ты – глупенькая!

– Это уж ты глупенький-то! – Девочка надулась. – Не буду тебя любить!

– Вот как! Это почему?

– А ты... ты, ведь, хотел привезти железную доро-о-огу! И еще зайчика... Разве ты обманщик?

– Я был сердит на твою маму, – вывернулся Геник. – Я хотел, чтобы тебя называли Варей, а она меня не послушала.

– Варя – это у кухарки, – заявила девочка, подступая ближе. – Она рыжая. А я Оля!

– Ну, вот. Но теперь я уже перестал сердиться. И знаешь, что я придумал?

– Нет! Какую-нибудь дрянь? – осведомилась девочка.

– Ай, какой стыд! Кто тебя научил так говорить? Вот скажу маме непременно, что учишься у Вари...

– Я не учусь! Это папа так говорит, – хладнокровно возразила племянница.

– Ай-яй-яй! Ай-яй-яй! – продолжал укоризненно покачивать головой Геник.

– Ну – я не буду! Ну – скажи, что? – приставала девочка.

– А ты любить меня будешь?

– Да-а! – Оля утвердительно кивнула головой и, подойдя к Генику, сложила свои розовые пальчики на его большой сильной руке. – Ну, скажи же, скажи!

– Мы, – торжественно заявил Геник, – поедем с тобой на настоящей железной дороге!

– В Италию, – с восторгом подхватила Оля, и глаза ее мечтательно расширились.

– В Италию! Мы возьмем с собой маму м... м...

– Мы еще возьмем... возьмем вот кого! – Оля задумалась. – Мы возьмем всех, правда? И маму, и Варьку, и Ганьку, и француженку... Нет, француженку не нужно! Она злая!

Она все жалуется, а пайка ее очень любит за это!..

– Вот как! Ну, мы ее тогда... оставим без обеда!..

– Во-от. Так ей и надо! – Девочка с нетерпением смотрела на Геника. – Мы едем в Италию!

– Нет! – печально вздохнул Геник. – Я и забыл, что мне нельзя ехать.

– Ну-у?! – Оля недоверчиво и огорченно раскрыла рот. – А почему нельзя? а?

Ее подвижное личико надулось, и губы обиженно задрожали, готовясь плакать. Геник погладил ее по щеке и сказал:

– Я пошутил, Оля. Ехать можно, только надо купить летнюю шляпу.

– Вот такую, как у папы, – озабоченно заметила девочка. – Белую. А ты был в Италии?

– Был. Только там шляпы лучше папиной!

– Да-а, как же! У папы всегда лучше, – заявила племянница и вдруг даже подпрыгнула от радости.

– Сережа, едем! – закричала она, хлопая в ладоши. – Скорее! Я дам тебе папину шляпу – вот!

Геник привлек девочку к себе и поцеловал ее в сияющие глаза.

– Не надо, Оля, – сказал он печально. – Мама узнает, будет бранить Олю!

– Мама нет, Сережа! Она у художника – знаешь? Плешивый!..

Ш

Геник не успел открыть рот для ответа, как белое платье девочки уже замелькало по направлению к дому. Через несколько мгновений топот ножек затих.

Тогда он достал из бокового кармана номер вчерашней газеты и развернул ее, смоченную потом. Сразу как-то назойливо бросилось в глаза объявление табачной фабрики с маской восклицательных знаков.

«Вызвали наряд городских, – думал он, чувствуя, как им овладевает мелкая нервная дрожь, сменившая возбуждение. – По улицам расставили шпионов. По углам сторожат конные жандармы. Телефон работает...»

Где-то, вероятно на соседнем дворе, шарманка заиграла хрипящий, жалобный вальс. Солнце поднялось над соседней крышей и заглянуло в глаза Генику. Маленькая, вертлявая птичка запрыгала по аллее и вдруг испуганно вспорхнула, увидев человека, одетого в черное, с бледным лицом. Геник проводил ее глазами и насильно усмехнулся, вспомнив Олю. Затем встал, провел рукой по пыльному лицу и огляделся.

Стена имела не менее сажени в высоту. Она охватывала сад, находившийся в задней части двора, с трех сторон. Было странно, как мог он перескочить ее без посторонней помощи. Это произошло мгновенно; как будто какой-то вихрь поднял его тело и перебросил по эту сторону. Во всяком слу-

чае, нечего было и думать повторить снова эту штуку. Всматриваясь пристальнее в глубину сада, он заметил в отдалении легкие просветы, сквозь которые можно было видеть маленькие кусочки мощеного двора и угол каменного, многоэтажного дома.

Он снова сел и только тут заметил, что его одежда носила явные и свежие следы кирпича и извести. Схватив горсть влажной травы, он начал поспешно приводить себя в порядок, затем развернул газету и напряженно, до боли в глазах, стал вглядываться поверх ее страниц в темную глубину сада.

IV

Кровь постепенно отхлынула от сердца, но пульс бился по-прежнему неровно и часто. Станный, колющий озноб пробегал по его ногам, несмотря на июльскую жару.

Цветочная клумба пришла в движение. Немилосердно комкая дорогие цветы, белое платье Оли пронеслось вихрем и остановилось перед Геником. Лицо девочки сияло восторгом блестяще выполненной задачи: большая отцовская шляпа широким грибом покрывала ее густые русые волосы.

– Вот папина шляпа, Сережа! – заявила она, шумно переводя дыхание. – Надевай!

Она привстала на цыпочки и, прежде чем Геник успел нагнуться, торопливые детские руки сорвали его помятую, черную шляпу и нахлобучили взамен ее желтую новенькую па-

наму.

– Ах! – она отступила на шаг и, сложив руки, прижала их к груди, с явным восхищением посматривая на дядю. Незаметным ударом ноги Геник подбросил под скамейку свой отслуживший головной убор.

– Ну, вставай же, поедем!

– погоди, детка, – улыбнулся Геник. – Еще поезд не пришел. Он придет скоро, скоро... и тогда... Мне еще нужно съездить по делу на часок. Потом я вернусь, и мы отправимся.

– Ну, пойдем ко мне! Я покажу тебе Зизи. Она сейчас завтракает, а потом будет кувыркаться... У нее глаза болят!..

– Видишь ли, очень жарко. А в комнате еще теплее. Я даже хочу снять пальто.

Геник стащил с себя летнее черное пальто, опустил его за скамейку и остался в широком, сером пиджаке, делавшем его гораздо полнее, чем он был на самом деле и казался в своем узком пальто.

– А я сяду к тебе? – она заглянула ему в глаза. – Можно? Только ты меня усами не трогай. Папа меня всегда усами щекочет.

Болтая, она вскарабкалась к нему на колени и прижалась щекой к его боковому карману, где лежал револьвер.

– А ты хочешь какао, Сережа? Мама мне всегда велит пить какао. Оно такое противное, как лекарство!

V

Но уже кто-то, чужой и враждебный, шел из глубины сада... Мерно хрустел песок, слышалось сдержанное покашливание... Геник затаил дыхание и сунул руку за пазуху...

Два городских, с револьверами наготове, показались в изгибе аллеи. Они шли медленно и осторожно. Впереди шел дворник, плотный, невысокий мужик, широколицый, с маленькими, часто мигающими глазами.

Увидев их, Оля вырвалась из рук Геника и стремительно кинулась к дворнику. Ухватившись за его грязный передник, она запрыгала и заторопилась, путаясь и захлебываясь.

– Степан! Он приехал! Дядя Сережа! Вот он! Он меня повезет в Италию!

Наступило короткое молчание. Полицейские осматривались кругом, нерешительно порываясь двинуться дальше.

Был момент, когда, как показалось Генику, сердце совсем перестало биться у него в груди, и земля завертелась перед глазами...

– С приездом осмелюсь вас поздравить, барин, – сдержанно сказал Степан, приподнимая фуражку. – Позвольте, барышня, как бы не зашибить вас случаем!

Он бережно отстранил девочку и опустил руки по швам.

– Мы, ваше степенство, можно сказать, двор осматриваем... С Михайловской улицы из пивной видели, как тут че-

ловек к бельгийцу во двор заскочил... А окромя как через наш двор ему выскочить негде...

– Какой человек? – отрывисто спросил Геник.

– Из тюрьмы сбежал, барин, бунтарь. Вся полиция на ногах. В городского стрелял, прямо в живот угодил...

Геник поднялся во весь рост, строгий и величественный.

– Степан! – начал он медленно и внушительно, смотря дворнику прямо в глаза, – стоит мне сказать одно слово – и ты будешь немедленно уволен! Помогать охране порядка – твоя прямая обязанность! В то время, как вот они, – он указал взглядом на городских, – не жалея жизни исполняют свой долг – ты сидишь в пивной и, разинув рот, ловишь мух! Очень хорошо!

– Господи! Ужли ж я... ведь на один секунд! Ежели в этукую-то жару выпьешь единую кружку, так уж и не знаю что... Эх, барин!

Степан обиженно вздохнул и умолк.

– Иди, я не держу тебя. Впрочем – погоди. Позови извозчика – ряди в дворянское собрание...

– Хорошо-с, – сказал угрюмо Степан, надевая картуз.

Он немного потоптался на месте, и все трое удалились, переговариваясь вполголоса. Оля робко подошла к Генику и тихо сказала:

– Какой ты сердитый! А ты на меня будешь кричать?

– Нет...

– Они кого ищут? Мазурика? Да?

– Да...

– Он какой – голый?

– Да...

Геник стоял во весь рост, затаив дыхание, сжав кулаки и, как окаменелый, глядя в сторону ушедших. Когда шум шагов затих, он в изнеможении почти упал на скамью и разразился нервным, рыдающим смехом...

Испуганная девочка кинулась к нему и, напрягая все силы, сама готовая заплакать, старалась поднять его голову, опущенную на вздрагивающие руки.

– Сережа, не плачь! Сережа – я обманула тебя! Я буду тебя любить...

Громадным усилием воли Геник поднял голову и взглянул на девочку. Ее испуганные глазки беспомощно смотрели на него, пальчики трясли изо всех сил большую, загорелую руку. Вдруг Геник скорчил потешную гримасу, и Оля звонко расхохоталась.

– Ты – смешной! – заявила она. – Как клоун!

На другом конце двора послышалось дребезжание извозчичьего экипажа. Геник встал.

– Прощай, Оля! – сказал он, поправляя галстук. – Я приеду к обеду и привезу тебе железную дорогу.

– И лошадку?

– Да, и лошадку. А потом мы поедem в Италию!..

– Вот как хорошо! – засмеялась девочка, идя рядом с ним. – Ты, ведь, до-о-бренький! Я с тобой всегда буду ездить!

Аллея кончалась, и перед ними блеснул чисто выметенный, мощный двор. У роскошного крыльца ожидал извозчичий фаэтон. Подойдя к экипажу, Геник нагнулся и поцеловал пушистую, русую головку.

– До свидания! Будешь умница?

– Да-а!..

Он вскочил на сиденье, и экипаж с грохотом выехал на улицу.

Оглянувшись назад, Геник увидел Олю. Она стояла у железной решетки ворот, освещенная солнцем, золотившим ее густые кудри, и усиленно кивала головкой уезжавшему...

Когда экипаж поворачивал за угол, Геник оглянулся еще раз. Мгновенно мелькнуло и скрылось белое пятнышко, а ветер встрепенулся и донес слабый отголосок детского крика:

– Ведь ты приедешь, Сережа?

Случай

I

Бальсен запряг свою понурую, рыжую лошадку и, крепко нахлобучив шапку на голову, вышел со двора на улицу. Дождь уже перестал поливать землю. Густой запах навоза и гнилой сырости стоял в черном, как смола, воздухе, насыщенном теплой влагой осенней ночи. Ветер стих. В пустынной тишине темной, уснувшей улицы жалобно скрипел флюгер над крышей дома Бальсена, и в доме ярко светились два окна, озаряя грязные лужи на краю дороги. Жена Бальсена, Анна, умирала. Так думали все соседи и старуха Розе, сидевшая у больной. Но упрямая, круглая голова Бальсена не верила этому. Молодая и любимая женщина не может умереть так скоро, прожив с мужем только год и родив лишь одного ребенка. Старухи каркают зря.

Подумав так, он вошел в дом и тихо подошел к деревянной, почерневшей от времени кровати, на которой, среди подушек и одеял, широко раскинув руки, лежала больная. Бальсен смотрел на нее и удивлялся. Неужели это та самая Анна, что еще неделю тому назад пела и кричала на всю улицу? С трудом можно было этому поверить... Щеки впали;

лоб, обтянутый гладкой, пожелтевшей кожей, покрылся испариной. Запекшиеся губы неровно и часто открывались, и дыхание с болезненным свистом вырывалось из груди. Вся она страшно исхудала, побледнела и сделалась такой жалкой и беспомощной.

Розе копошилась у плиты, готовя какое-то деревенское питье. Бальсен тихо потрогал жену за руку и спросил:

– Ну, как? Трудно тебе, Анна?

Молодая женщина ничего не ответила, но веки ее дрогнули и дыхание сделалось ровнее. С трудом приоткрыв, наконец, глаза, она стала смотреть перед собой неподвижным, мутным взглядом. Потом глаза снова закрылись, а губы начали шевелиться. Бальсен стиснул зубы.

– Оставь ее, Отто, оставь! – убеждающим шепотом заговорила старуха, отрываясь от плиты и поправляя под чепчиком дрожащими, коричневыми пальцами клочья седых, как вата, волос. – Нельзя ее трогать... Поезжай скорее, если ты добрый муж!

Ребенок в соседней комнате проснулся и тихо заплакал. Старуха поспешила к нему. Бальсен перевел глаза к столу, за которым его младший брат, Адо Бальсен, читал газету при свете керосиновой лампы. Зеленая тень стеклянного колпака падала на хмурое, сосредоточенное лицо юноши.

– Брось газету, Адо! – раздраженно крикнул Бальсен, и жилы вздулись на его лбу. – Вечная политика, даже тогда,

когда в доме горе!.. Это вы, зеленый горох, лезете по тычине¹ к небу и валитесь вместе с ней! Брось, я тебе говорю!

Адо улыбнулся и поднял глаза на брата.

– Не сердись, Отто! – мягко сказал он. – Я не обижаюсь на тебя... Тебе тяжело; это понятно... Но чем виновата газета?

– Никто не виноват! – тяжело дыша, сказал Бальсен и заходил по комнате, круто поворачиваясь. – А чем виновата Анна, что тебе и другим дуракам вздумалось облагодетельствовать всех плутов, мошенников и лентяев на свете? Гибнут все хорошие люди!..

– Этого не может быть! – сказал юноша и упрямо встряхнул волосами. – Если бы погибли все хорошие люди, мир не мог бы существовать!..

– Ну да! Это из книжки! А на самом деле? Где кузнец Пельт? Где Аренс, учитель? Где Мансинг, аптекарь? Один убит... А других что ждет? А что они сделали? Будь Мансинг здесь, Анна, быть может, была бы здорова...

– Отто, ты – как большой ребенок! – сказал Адо. – Ну, что бы мог тут сделать аптекарь? Все равно ты бы поехал за доктором... Тебе просто, как видно, хочется сорвать сердце на чем-нибудь!..

– Сорвать?! Молокосос ты и больше ничего!.. Что стало с краем? Еще такой год, и мы будем нищие! Мы, Бальсены!..

Истекший год оставил в Бальсене-старшем тяжелые воспоминания. Деревня обезлюдела: кто разорился, кто исчез,

¹ Тычина (укр.) – кол.

неизвестно куда. Нескончаемые военные постой, реквизиции, вечный страх перед кулаком и плетью... Обыски, доносы... Жизнь сделалась адом.

И Бальсен в грустные минуты вспоминал зеленые, залитые горячим светом поля, здоровье, радость труда, смех Анны, крепкую усталость, вкусную жирную еду и богатырский сон... В прошлом жилось хорошо, настоящее – ужасно и смутно; будущее – неизвестно...

И Бальсен возненавидел политику и людей, причастных к ней, перенося, как все умственно близорукие люди, свои симпатии и антипатии на предметы, непосредственно ясные для зрения. Газета, иностранное слово раздражали его. Рабочий, крестьянский ум Бальсена глядел в землю и никуда больше.

Ребенок затих, и старуха вошла в комнату шаркающей, хлопотливой поступью.

– Будет шуметь! – сказала она. – Что для вас Анна? Ваши споры вам дороже. Отто, не забудь, что до Вендена сорок верст... Лошадь поела? Поезжай, а то я выгоню тебя ухватом.

Бальсен перестал ходить и подошел к кровати. Постояв немного, он наклонился и поцеловал Анну в волосы. Больная в беспмятстве шептала что-то, быстро шевеля губами. В голубых, сердитых глазах крестьянина вспыхнула затаенная мука.

– Не топчись! – ворчала Розе. – Поезжай, ну!

– Тетка Розе! – сказал вдруг Бальсен. – А что, если он не захочет?

– Ну, вот! Поедет! Иначе его покарает бог!.. А бумажку возьми с собой на всякий случай; купишь в аптеке.

Бальсен нащупал в кармане бумажку, сложенную вчетверо, на которой был написан какой-то традиционный безграмотный деревенский рецепт, вздохнул и вышел, тихо приотворив дверь.

II

Дорога шла лесом. Невысокая, редкая чаща тянулась на пятнадцать верст двумя сплошными, угрюмыми стенами. Дорога была неровна и кочковата, но Бальсен не захотел ехать обычным, наезженным трактом, потому что лесной путь сокращал расстояние по крайней мере верст на десять. Во-вторых, здесь он чувствовал себя спокойнее и мог рассчитывать не наткнуться на бродяг и грабителей, расплодившихся в последнее время. Бальсен живо помнил, как пастор Кинкель приехал домой от одного больного – в нижнем белье, стуча зубами от страха и холода.

Низкие, темные облака толпились, как привидения, исчезая за черной, зубчатой извилиной лесной опушки. Тяжелые водяные капли часто хлопали, падая в рытвины, наполненные водой. Изредка ветер, внезапно прошумев над вершинами елей и сосен, стряхивал с веток целые потоки воды, и то-

гда казалось, что лес наполняется торопливым, смутным шепотом. Иногда раздавался слабый писк сонной птицы, легкий, осторожный треск... Вдали, в самой глубине лесного затишья, какое-то печальное и одинокое существо монотонно гудело, и его глухое «гу-у! гу-у!» выло, как ветер в трубе.

Лошадь быстро бежала, поматывая шейей, и в ее торопливом, крепком и уверенном беге было что-то успокаивающее и ободряющее. Повозка качалась и подпрыгивала на рытвинах и древесных корнях, протянувших свои кривые щупальца под тонким дерном. И Бальсену, глядевшему в черный, неподвижный мрак, казалось, что он едет в глухом, темном коридоре, уходящем в какое-то подземное царство... Тогда он поднимал голову вверх и смотрел на густые, медленно и высоко ползущие тучи.

Проехав верст десять, он остановил лошадь и вылез, чтобы поправить седелку, сбившуюся набок. Копыта перестали стучать, и колеса затихли. И в жуткой, сонной тишине лесного покоя, встревоженного только этим шумом езды одинокого человека, казалось, ничто уже больше не разбудит затишья ночи, упавшего на землю.

И дорога, предстоявшая Бальсену, показалась ему такой бесконечной, темной и тоскливой, что он снова поспешно вспрыгнул в повозку и задергал вожжами. Лошадь побежала, бойко и мерно постукивая копытами.

Сидя в повозке, Отто Бальсен думал об Анне, жизни, глупом братишке Адо и своем путешествии. Мысли его тяжело

и сосредоточенно устремлялись одна за другой. Было странно и непонятно, что горе может придти внезапно и нарушить спокойное довольство трудящегося человека. С его, Бальсена, стороны не было к этому никаких поводов. Он исправно платил подати, работал прилежно, верил в бога и загробную жизнь, иногда кормил нищих и был добрым, заботливым мужем... А все же хозяйство расстраивалось, и все же Анна лежит там, в деревне, и стонет, и мучается, а он, Бальсен, едет ночью за десятки верст, рискуя большими расходами...

И мысль снова начинала вертеться в прошлом, отыскивая тайные пружины, незримые семена, взрастившие заботу и горе. Ничего не оказывалось. По-прежнему в воображении упрямо вставали желтые пышные поля, смуглые руки Анны и тишина домашнего уюта... Бальсен сердито вытянул Рыжика кнутом и выехал на опушку.

III

Лес кончился, уходя назад черной, плывущей тенью, а дорога сделалась ровнее и шире. Крестьянин вынул старинные, серебряные часы и зажег спичку. Стрелки показывали 12. Еще часа полтора езды до города, и к пяти утра он, пожалуй, успеет вернуться обратно. Шурин Андерсен с удовольствием одолжит ему одну из своих четырех лошадей. Бедный Рыжик уже устал, вероятно, так как часто взматывал головой.

И вдруг Бальсен услышал, что навстречу ему кто-то едет.

В темноте раздавались дробные, перебивающиеся удары копыт и фыркание лошадей. Он потянул вожжи к себе, прислушиваясь, и решил, что едут верховые. Затем свернул с дороги на рыхлое, кочковатое жнивье и остановил Рыжика.

Топот приближался, слышался ленивый, сдержанный разговор. Рыжик вытянул шею и звонко, нетерпеливо заржал, перебирая ногами. Голоса затихли. Бальсен рассердился и ударил лошадь. Через секунду раздалось ответное, возбужденное ржание, и повозку быстро окружили темные силуэты людей, сидящих верхом, с винтовками за плечами. Их было много, и Бальсену стало ясно, что это один из казачьих разъездов, бродивших вокруг Вендена. Он сморщился, с неприятным чувством вглядываясь в казаков, но лиц не было видно в темноте. Один подъехал близко, так, что голова его лошади обдала лицо Бальсена горячим паром ноздрей, и спросил:

– Куда путь держишь, дружище?

– В город... – неохотно ответил Бальсен, нетерпеливо пожимая плечами.

– И очень тороплюсь.

– А чего же ты торопишься? – спросил другой казак и захохотал громким, резким смехом. – Дюже же ты торопишься, засев у середь поля!..

Под одним из всадников заиграла лошадь, и он, сочно выругавшись, ударил ее ногой в бок. Подъехал еще один, и по тому, как он спросил: – «Что тут?», и по тому, что казаки

повернулись к нему лицом, Бальсен догадался, что это офицер. Казак, спросивший у Бальсена, куда он едет, подъехал к офицеру и начал что-то говорить ему, оглядываясь на крестьянина.

– Ты думаешь? – спросил офицер, зевая.

– Так тошно... Стоить у середь поля...

– Куда едешь? – сердито крикнул офицер.

– В город, господин начальник, – ответил Бальсен, снимая шапку. – За доктором. У меня очень больна жена...

– Откуда?

– Из Келя... Меня зовут Бальсен, Отто Бальсен...

– А есть у тебя паспорт?..

– Паспорт я забыл дома, господин начальник, – сказал Отто. – Но вы уж, пожалуйста, пропустите меня. Меня здесь знают кругом на сто верст. Я мирный человек.

Несмотря на уверенный тон, каким Бальсен давал ответы офицеру, смутная тревога, однако, сдавила ему грудь. Он вздохнул и продолжал:

– Нужда заставляет ехать в ночь, господин полковник. Очень неприятно. Я очень тороплюсь...

Офицер молчал, покачиваясь в седле, и Бальсен спросил:

– Так мне можно ехать? Меня здесь все знают...

– Нет, нельзя, – спокойно сказал офицер. – А может быть, ты не Бальсен, а? Как же это ты – без паспорта? Разве ты не читал приказа?

– Никак нет, господин полковник. Никто не читал у нас, –

вздыхнул Бальсен. – Со всяким может случиться ошибка, господин полковник. И я прошу вас простить меня. Мне нужно к доктору...

– А ну, общите его, ребята, – приказал офицер. – А зачем ты свернул с дороги?

– Я не знал, кто едет, господин начальник, – оправдывался Бальсен. – Теперь много разбойников.

– Вылезай! – сонно сказал казак, спрыгивая с лошади. – Прощупаем тебя.

Бальсен засуетился, вылезая из повозки и покорно расставляя руки, пока казак ощупывал его и лазил по карманам. Вынув все, что было в них: трубку, табак, бумажник, часы и бумажку старухи Розе, он передал отобранное офицеру. Другой казак зажег небольшой ручной фонарик, и при свете его, бледном и прыгающем, Бальсен увидел худое, бледное лицо офицера, склонившегося над вещами крестьянина. Офицер долго ворочал и рассматривал рецепт, затем тщательно осмотрел часы и бумажник. Еще один казак подъехал к нему и начал что-то шептать. Офицер мычал и кивал головой, изредка восклицая: «А? – Да! – А? Да-а!...»

Время тянулось для Бальсена удивительно медленно. Он пристально и внимательно следил за движениями казаков и удивился, когда один из них вытащил у товарища изо рта окурки папиросы. Рыжик нетерпеливо фыркнул, потряхивая дугой.

Наконец офицер сказал что-то сквозь зубы, передавая ве-

щи Бальсена казаку, и крупной рысью скрылся в темноте. Казаки потянулись за ним. Бальсен облегченно вздохнул и сказал:

– Можно ехать?

Казак, стоявший возле крестьянина, бросил на него косой взгляд, шмыгнув носом и ничего не ответил. Понемногу уехали все, и осталось только четверо. Они переглянулись, спешились и подошли к Бальсену.

– Ну, вот что, друг, – сказал один, и Бальсену показалось, что он улыбается в темноте. Весело улыбнувшись ему в ответ, он хотел спросить, – можно ли ему наконец ехать, но казак продолжал:

– ...мы тебя свяжем. А ты стой смирно. Смотри – не вздумай тикать – застрелю!..

Он повернул Бальсена за плечо, и крестьянин, оторопев, послушно повернулся... И вдруг страшная мысль, огненным сверлом пронзив мозг, упала в душу... Он дико, отчаянно вскрикнул. Казалось, что земля уходит из-под ног и все кружится со страшной, молниеносной быстротой.

– Не прыгай, до города далеко, – апатично сказал казак, сидевший верхом. – Что толку? Все равно, брат, помирать когда-нибудь...

– За что?! – закричал Бальсен, и заплакал. – Меня все!.. Я Отто Бальсен!..

– Сам знаешь, за что, – угрюмо ответил казак. – Начальство, дядя, распоряжается, а не мы... Очень разумные. Вот

за это самое.

Бальсен застыл, и казалось ему, что все мысли умерли в нем и сам он умер... А, быть может, это сон... Все сон: сырая, пронизывающая сырость осенней ночи, рыхлая земля под ногами, Рыжик, опустивший голову, и эти замолкшие, темные фигуры людей, отделившихся от него... Это бывает, и Отто вспомнил страшные кошмары, когда, проснувшись в теплой, темной комнате, облегченно вздыхаешь, натягивая одеяло, и поворачиваешься, засыпая вновь...

В голове его пестрым, разноцветным узором пробежали вдруг грядки небольшого огорода, сокровища Анны. Упругая, светло-зеленая капуста, темный стрельчатый лук, белые цветочки картофеля и желтые огуречные... Все это было, и всего этого не будет. И сам он, Отто Бальсен, Бальсен, которого знают на сто верст кругом, куда-то исчезнет, и никто не будет знать и никогда не узнает, почему так вышло...

И снова мысль упала в прошлое, и снова перед Бальсеном сверкнули желтые, пышные поля и смуглые руки Анны. И снова было непонятно, почему теперь явились сильные, злые, вооруженные люди, взяли его и убили...

Он безотчетно рванулся вперед, но, сделав два-три шага, споткнулся и сел со связанными руками на сырую, вязкую землю. Казак, сидевший на лошади, заметил:

– Ослаб. Пугается...

– Я видал, – сказал другой. – А видал и таких, которые смелые. Есть тоже из ихнего брата...

Гнев и отчаяние окончательно овладели Бальсеном. Он хотел крикнуть и не мог. Казалось, еще немного, и он проснется... Еще, одно, еще последнее усилие...

– Не копайся, Данило, – сказал верховой. – Вы, черти!.. Чего томить человека?!

Темные фигуры отошли на несколько шагов и остановились. Бальсен видел, как сверкнули длинные красные огоньки, и острая, тянущая боль стеснила ему дыхание. Падая, он увидел свой дом, светлую комнату, Адо, склонившегося над газетой, и больную, любимую Анну...

Затем все исчезло.

На досуге

Начальник еще не приходил в контору. Это было на руку писарю и старшему надзирателю. Человек не рожден для труда. Труд, даже для пользы государственной – проклятие, и больше ничего. Иначе бог не пожелал бы Адаму, в виде прощального напутствия, «есть хлеб в поте лица своего».

Мысль эта кстати напомнила разомлевшему писарю, что стоит невыносимая жара и что его красное, телячье лицо с оттопыренными ушами обливается потом. Задумчиво вытащил он платок и меланхолично утерся. Право, не стоит ради тридцатирублевого жалованья приходить так рано. Годы его – молодые, кипучие... Сидеть и переписывать цифры, да возиться с арестантскими билетами – такое скучное занятие. То ли дело – вечер. На бульваре вспыхивают разноцветные огни. Аппетитно звякают тарелки в буфете и гуляют барышни. Разные барышни. В платочках и шляпах, толстые, тонкие, низенькие, высокие, на выбор. Писарь идет, крутит ус, дергает задом и поигрывает тросточкой.

– Пардон, мадмуазель! Молоденькие, а в одиночестве... И не скучно-с?..

– Хи, хи! Что это, право, за наказание!.. Такие кавалеры, а пристаєте!..

– А вы, барышня, не чопуритесь!..² Так приятно в вечер майский с вами под руку гулять!.. И так приятно чай китайский с милой сердцу распивать-с!..

– Хи, хи!..

– Хе-хе!..

Легкие писарские мысли нарушены зевотой надзирателя, старой тюремной крысы, с седыми торчащими усами и красными, слезящимися глазками. Он зевает так, как будто хочет проглотить всех мух, летающих в комнате. Наконец, беззубый рот его закрывается и он бормочет:

– А уголь-то не везут... Выходит, что к подрядчику идти надо...

С подрядчиком у него кой-какие сделки, на почве безгрешных доходов. Вот еще дрова – тоже статья доходная. На арестантской крупе да картошке не разжиреешь. Нет, нет – да и «волынка», бунт. Не хотят, бестии, «экономную» пищу есть. Так что с перерывами – подкормишь, да и опять в карман. Беспокойно. То ли дело – дрова, керосин, уголь... Святое, можно сказать, занятие...

Часы бьют десять. Жар усиливается. В решетчатых окнах недвижно стынут тополи, залитые жарким блеском. Кругом – шкафы, книги с ярлыками, старые кандалы в углу. Муха беспомощно барахтается в чернилах. Тишина.

Сонно цепенеет писарь, развалившись на стуле, и разевает рот, изнемогая от жары. Надзиратель стоит, расставив но-

² Чопуритесь – здесь: от чопорный, строго соблюдающий правила приличия.

ги, шевелит усами и мысленно учитывает лампадное масло. Тишина, скука; оба зевают, крестят рты, говорят: «фу, черт!» – и зевают снова.

На крыльце – быстрые, мерные шаги; тень, мелькнувшая за окном. Медленно открывается дверь, визжа блоком. Тщедушная фигура рассыльного с черным портфелем и разносной книгой водворяется в канцелярию и обнажает вспотевшую голову.

– От товарища прокурора...³ Письма политическим...

Тишина нарушена. Радостное оживление оскаливает белые, лошадиные зубы писаря. Перо бойко и игриво расчерчивается в книге, и снова хлопает визжащая дверь. На столе – небольшая кучка писем, открыток, измазанных штемпелями. Писарь роется в них, подносит к глазам, шевелит губами и откладывает в сторону.

– Вот-с! – торжествующе восклицает он, небрежно, как бы случайно подымая двумя пальцами большой, синий конверт. – Вот-с, вы, Иван Палыч, говорили, что отец Абрамсо-ну не напишет! Я уж его почерк сразу узнал!..

– Что-то невдомек мне, – лениво зевает надзиратель, шевеля усами: – что он писал у в прошедший раз?..

– Что писал! – громко продолжает писарь, вытаскивая письмо. – А то писал, что ты, так сказать – более мне не сын. Я, говорит, идеи твои считаю одной фантазией... И потому,

³ Товарищ прокурора – в дореволюционной России слово «товарищ» в соединении с названием должности обозначало понятие «заместитель».

говорит, более от меня писем не жди...

– Что ж, – меланхолично резонирует «старший», подсаживаясь к столу. – Когда этакое супротивление со стороны своего дитя... Забыв бога, к примеру, царя...

– Иван Павлыч! – радостно взвизгивает писарь, хватая надзирателя за рукав. – От невесты Козловскому письмо!.. Ну, интересно же пишут, господи боже мой!..

– Значит – на прогулку сегодня не пойдет, – шурится Иван Павлыч. – Он этак всегда. Я в глазок⁴ сматривал. Долго письма читает...

Писарь торопливо, с жадным любопытством в глазах, пробегает открытку, мелко исписанную нервным, женским почерком. На открытке – заграничный вид, лесистые горы, мостики, водопад.

– В глазок сматривал, – продолжает Иван Павлыч и шурится, ехидно усмехаясь, отчего вваливается его беззубый, черный рот и прыгает жиденькая, козлиная борода. – Когда плачет, когда смеется. Потом прячет, чтобы, тово, при обыске не отобрали... Свернет это мелконько в трубочку – да и в сапог... Смехи!.. Потом, значит, зачнет ходить и все мечтает... А я тут ключами – трах!.. – «На прогулку!» – «Я, говорит, сегодня не пойду»... – «Как, говорю, не пойдете? По инструкции, говорю, вы обязаны положенное отгулять!» – Раскритится, дрожит... Сме-ехи!..

– «Ми-лый... м... мой. Пе... тя...» – торжественно чита-

⁴ Глазок – круглое отверстие в дверях камеры.

ет писарь, стараясь придать голосу натуральное, смешливое выражение. – Про-сти-что-дол-го-не-пи-са-ла-те-бе. Ма-ма-бы-ла-боль-на-и...

Писарь кашляет и подмигивает надзирателю.

– Мама-то с усами была! Знаем мы! – говорит он, и оба хохочут. Чтение продолжается.

– ...бу-ду-те-бя-жда-ать... те-бя-сош-лют-в-Сибирь... Там-уви-дим-ся... При-е-хать-же-мне, сам знаешь, – нель-зя...

– Врет! – категорически решает Иван Павлыч. – Что ей в этом мозгляке? Худой, как таракан... Я карточку ейную видел в Козловского камере... Красивая!.. Разве без мужика баба обойдется? Врет! Просто туману в глаза пускает, чтобы не тревожил письмами...

– Само собой! – кивает писарь. – Я вот тоже думаю: у них это там – идеи, фантазии всякие... А о кровати-то, поди – нет, нет – да и вспомнят!..

– Что барская кость, – говорит внушительно Иван Павлыч, – что мещанская кость, – что крестьянская кость. Все едино. Одного, значит, положения природа требует...

– Жди его! – негодуяюще восклицает писарь. – Да он до Сибири на что годен будет! Измочалится совсем! Будет не мужчина, а... тьфу! Ей тоже хочется, небось, ха, ха, ха!..

– Хе-хе-хе!.. Любовь, значит, такое дело... Бе-е-ды!..

– Вот! – писарь подымает палец. – Написано: «здесь мно-го-инте-рес-ных-людей»... Видите? Так оно и выходит: ты

здесь, милочек мой, посиди, а я там хвостом подмахну!.. Ха-ха!..

– Хе-хе-хе!..

– Какая панорама! – говорит писарь, рассматривая швейцарский вид. – Разные виды!..

– Тьфу!.. – Надзиратель вскакивает и вдруг с ожесточением плюет. – Чем люди занимаются! Романы разводят!.. Амурь разные, сволочь жидовская, подпускают... А ты за них отвечай, тревожься... Па-а-литика!..

Он пренебрежительно щурит глаза и взволнованно шевелит усами. Потом снова садится и говорит:

– А только этот Козловский не стоит, чтобы ему письма давать... Супротивнее всех... Позавчера: «Кончайте прогулку», – говорю, время уж загонять было. – «Еще, говорит, полчаса и не прошло!» – Крик, шум поднял... Начальник убежал... А что, – меняет тон Иван Павлыч и сладко, ехидно улыбается, – ждет письма-то?

Писарь подымает брови.

– Не ждет, а сохнет! – веско говорит он. – Каждый день шляется в контору – нет ли чего, не послали ли на просмотр к прокурору...

– Так вы уж, будьте добры, не давайте ему, а? Потому что не заслужил, ей-богу!.. Ведь я что... разве по злобе? А только что нет в человеке никакого уважения...

Писарь с минуту думает, зажав нос двумя пальцами и крепко зажмурившись.

– Чего ж? – роняет он, наконец, небрежно, но решительно. – Мо-ожно... Картинку себе возьму...

В камере палит зной. В решетчатом переплете ослепительно сверкает голубое, бесстыжее небо.

Человек ходит по камере и, подолгу останавливаясь у окна, с тоской глядит на далекие, фиолетовые горы, на голубую, морскую зыбь, где растопленный, золотистый воздух баюкает огромные, молочные облака.

Губы его шепчут:

– Катя, милая, где ты, где? Пиши мне, пиши же, пиши!..

Любимый

I

Яков, или Жак, как мы звали его, пришел ко мне веселый, шумно распахнул дверь, со стуком поставил трость, игриво отбросил шляпу, энергично взмахнул пышной, каштановой шевелюрой, улыбнулся, жизнерадостно засмеялся, вздохнул, сел на стул и сказал:

– Поздравь!

– Поздравляю! – с любопытством ответил я. – Что? Выиграл?

– Хуже!

– Дядя умер?

– Хуже!

– Тогда не знаю. Расскажи.

– Женюсь! – выпалил он и расхохотался. – Влюблен и женюсь! Вот тебе!..

Я развел руками и пристально посмотрел в его лицо. Жак, мой приятель Жак, завсегдатай увеселительных мест, театров и кафе, был трезв, глядел на меня ясными, голубыми глазами и вовсе не обнаруживал стремления закричать петухом. В таких случаях принято говорить: «рад за тебя, дружище»,

или – «ну, что же, дай бог». Я предпочел первое и сказал:

– Очень радуюсь за тебя.

– Еще бы ты не радовался, – самоуверенно заявил он, переворачивая стул и усаживаясь на него верхом. – Ты должен – слышишь? – ты обязан с ней познакомиться... Она – чудо: ангел, добрая, милая, хорошенькая, – прелесть, а не женщина! Восторг, а не человек!..

– Хм!..

– Да! Но сознаешь ли ты, почему я выхожу за... то есть почему я женюсь? Я смертельно ее люблю! Я обожаю ее... ах, Вася!.. Ну, ты увидишь, увидишь!..

В его захлебывающихся словах звучало искреннее чувство, а глаза сделались влажными, и от этого в моей душе, душе старого холостяка, что-то заныло. Не то грусть, не то зависть; может быть, также сожаление о Жаке, терявшем с этого дня для меня свою ценность, как непоседы и собутыльника. Вздохнув, я побарабанил пальцами и спросил:

– Как же это так скоро? Ведь еще на прошлой неделе мы ночевали у этой очарова...

– Ах, да молчи! – Жак зажмурился и сжал губы. – Пожалуйста, не вспоминай... Я стараюсь не думать больше о... о... этом... Нет, решено: я люблю и буду порядочным человеком!

– Да?! – сказал я. – Я в восторге от тебя, Жак. Но расскажи же, как, что?.. Все это так неожиданно.

Жак воодушевился и в пылких, бессвязных словах изло-

жил мне историю своей любви. На прошлой неделе у знакомых он встретился с удивительным и т. д. существом, остолбенел с первого взгляда, стал ухаживать при лунном свете, говорить о сродстве душ, вздыхать, таять, забывать есть, словом, проделывать все то, что принято в таких случаях. А через пять дней упал на колени, рыдая, целовал ее ноги и получил согласие.

«Что же? – размышлял я, – Жак не очень глуп, красив, богат, с добрым сердцем... Дай ему бог».

– Она, – рассказывал Жак, – дочь состоятельного чиновника, кончила гимназию, а теперь мечтает поступить в консерваторию. Ведь это хорошо – в консерваторию? – вспотев и блаженно улыбаясь, спрашивал он меня. – В консерваторию! Ты подумай... Поедет в Петербург, слава, оvationи, ну... Одним словом!

– Хм!

– Ты увидишь, Вася!.. Ах, слушай, ну, ей-богу же, это удиви... это ангел... Вася, милый!..

– Милый Жак, – грустно сказал я. – Я... растроган... я... будь счастлив... будь...

Нервы Жака не выдержали. Он вскочил со стула, опрокинул курительный столик, бросился мне на шею и выпустил лишь минут через пять, оглушенного и полузадушенного. На щеке моей еще горели следы его поцелуев, слез, а жилет и усы запахли бриллиантином. Я отдышался, пришелся в себя и вытер лицо платком.

– Бегу! – Жак стремительно сорвался и затрепетал. – Бегу к ней... опоздаю... Ну... – он схватил мою руку и стал калечить ее... – Ну... ты понимаешь... я не могу... я... прощай!

– Слушай, – сказал я, – когда же я увижу...

– Ах, да... Какой я дурак! Дорогой Вася... сегодня, в театр, мы там, то есть я... и она, конечно, с мамой и дядей... Ну, жму тебе... руку... прощай!..

В одно мгновение он схватился за ручку двери, отдал мне ногу; шляпа как-то сама вспрыгнула ему на голову, и Жак исчез, оставив после себя опрокинутый столик, рассыпанные сигары и забытую трость.

II

Пробило восемь.

Что же еще взять с собой? Портсигар, бумажник, платок, анисовые лепешки – все здесь. Ах, да! Маленький цветок в петлицу. Жак будет этим доволен. Приятно видеть желание друга понравиться моей избраннице. Я выдернул из букета камелию, и она вспыхнула на сюртуке. Итак – еду. Некоторые говорят, что грустно быть холостяком... Д-да... с одной стороны...

Кучер быстро доставил меня к подъезду театра. В ярко освещенном зале я увидел Жака; он сиял в третьем ряду кресел, и его ослепительный жилет ярко оттенял розовое, счастливое лицо своего владельца. Рядом две дамы, но трудно раз-

глядеть издали. Я подошел ближе и раскланялся.

Да – она хороша, бесспорно. У Жака есть вкус. Маленькая, золотистая блондинка, матовая кожа овального личика и темные, грустные, как вечерние цветы, глаза. Нежные губы озарены тихой, приветливой улыбкой.

Она медленно поправила маленькой, гибкой рукой трэн⁵ белого, с кружевной отделкой платья, и села удобнее, переводя взгляд с Жака на меня и обратно.

Скверно, что мамаша была тут, рядом с ней, в противном случае я мог бы присесть ближе к фее и незаметно поволноваться. О, эта мамаша с двойным подбородком, крикливая и пестрая, как попугай! Этот острый материнский взгляд!.. Но дядя показался мне крайне милым человеком. Он молчал, блестел лысиной, бриллиантовыми перстнями и приятно улыбался.

Когда я был представлен, рассмотрен и усажен, то сказал вполголоса, но довольно внятно:

– Жак! Завидую тебе... Счастливчик!..

Она улыбнулась радостно, вспыхнув и дрогнув углами глаз. Он – самодовольно, с оттенком пошлости. Дядя сказал:

– Когда я был в Бухаре...

После этого он приятно улыбнулся и смолк, потому что Жак начал рассказывать нечто необъяснимое. Из его слов я мог лишь понять, что есть погода, театр, что он любит всех людей и завтра купит новую лошадь. Когда он кончил, дядя

⁵ Трэн (франц. *traine*) – шлейф у женского платья.

сказал:

– Я, видите ли, был в Бухаре и...

Но ему помешал оркестр. Грянул залихватский марш, и дядя, приятно улыбнувшись, окаменел в задумчивости. Мама крикнула, томно закатывая глаза:

– Ах, я обожаю военную музыку! Это моя слабость!..

– А вы, – спросил я девушку, – вы любите драму?

Фея повернулась ко мне, и было видно, что она не понимает вопроса. Мысли ее были не здесь, а в пространстве, где плавают розовые будуары, усы, резные буфеты и любовь. Я повторил вопрос.

– Да... люблю... конечно, – серьезно сказала она и тихо повторила, смотря на занавес:

– Люблю...

К театру ли относилось последнее слово? Не знаю.

III

Прежде чем случилось несчастье и сознание хлынувшего ужаса потрясло мозг, – что-то больно зазвенело в груди и дрогнуло там острым, разбившимся криком. Это наверху, с галерей, раздался шум, треск скамеек и пронзительный остервенелый вопль:

– Гори-и-им!!

Что-то быстро и звонко переломилось в душе, – граница между сознанием и паникой. Казалось, рухнули стены и

знойный вихрь всколыхнул воздух.

Бешеное стадо с ревом заколебалось вокруг, топча и опрокидывая все на пути. Оно бессмысленно лезло во все стороны, цепляясь, с плачем и проклятиями, за рампу, мебель, стены, волосы женщин, царапаясь и кусаясь, прыгая сверху с грохотом и воплями. И так же ярко, ровно горело электричество, заливая уютным светом мятущуюся толпу фраков, мундиров, причесок, голых плеч и белых, безумных лиц. Хотел помешанных летел в уши, слезливый и бессильный. Все трещало и стонало, как роща в напоре ветра.

Фея бросилась к Жаку и, теряя сознание, вцепилась пальцами в складки его жилета. Жак грузно подвигался вперед, задыхаясь от тяжести. Лицо его мертвело; одной рукой он отбрасывал прочь девушку, другую протягивал вперед и каждый палец этой руки кричал о помощи.

У меня закружилась голова. Я закрыл глаза и через мгновение открыл их, оглушенный, удерживая изо всех сил свое тело, готовое помчаться с воем по головам других. Пальцы мои впились в бархатную отделку барьера и разодрали ее. Девушка лежала в двух шагах от меня, скованная обмороком, руки стиснуты в кулачки, грудь замерла. Кто это – дядя? Нет, это сумасшедший. Он стоит, топает ногами и сердится, а скулы его дрожат, прыгает нижняя челюсть, и одной рукой он трет себя по спине...

– Где Жак?

В хаосе звуков далеким воспоминанием мелькнули длин-

ные руки Жака, с бешенством отбросившие прочь маленькое, кружевное тело. Тело стукнулось, а лицо окаменело в испуге. Потом закрылись глаза, сознание оставило ее.

Забыв о маме и дяде, я схватил фею на руки и кинулся вперед. В тылу плотно сбившихся, обезумевших затылков, в самом водовороте животной драки я столкнулся с Жаком и взглянул на него. Это было не лицо... Отвратительный, трясущийся комок мяса, и слюни, текущие из раскисшего рта... о! Я плюнул в этот комок и с бешенством страха ударил Жака ногой в живот. Взгляд его скользнул, не узнавая, по мне. Он прыгал, как курица, на месте, стараясь вылезть на плечи других, но каждый раз обрывался и всхлипывал.

Все – паника и давка – кончилось после нескольких упорных, звонких, умышленно-ленивых окриков сверху:

– Господа, стыдно! Пожара нет!..

Гость

I

Я пришел по делу к товарищу и застал его читающим свежий номер революционного журнала «Красный Петух». Он сидел перед столом, грыз ногти, обдумывая кипучую аргументацию автора передовой статьи, направленной против социал-демократов, и был так погружен в это занятие, что не заметил моего прихода. Я хлопнул его по плечу, он вскочил, уронил очки и сейчас же успокоился.

– Чего вы ходите, как кошка?! Смотрите, что пишут мерзавцы социал-демократы! Идиоты! Туполобые марксисты! Антиколлективистические черепа! Вороны! Кукушки!

Он, вероятно, еще долго бы ругался, огорченный поведением друзей из марксистского лагеря, если бы я кротко не заметил разгоряченному и вспотевшему человеку:

– Не стоит волноваться, Ганс. Бросьте их.

– Вы думаете? Ведь что возмутительно...

– Ганс, как быть с забастовкой? Нужно собраться еще раз.

Дело в том, что социал-демократы не желают бастовать одновременно с нами! А это может внести раскол. Если мы назначим завтра – они забастуют послезавтра; если решим ба-

ствовать послезавтра – они бросят работу завтра. Все это с целью представить нас партией, не имеющей реальной силы. Очень интересно!..

Ганс вытянул на столе свои мускулистые, волосатые руки и сморщился. Потом, откладывая в сторону «Красного Петуха», сказал:

– Я же говорил, что они мерзавцы! В Э 00 «Искры», страница пятая...

– Отложите на время «Искру». Что сейчас делать, а?

– Что делать? А... знаете, мы соберемся и... вот, все это обсудим... Но, ведь, еще Каутский⁶ в «Аграрном воп...»

– Ганс?!

– А? Да... Но, видите ли, я не могу равнодушно... Третий том «Капитала»...

– Слушайте, ведь это же из рук вон! Я уйду, или давайте говорить о деле!..

В комнате было сумрачно и прохладно, а в окна глядел июль, жаркий, пыльный, грохочущий. Я ожесточенно доказывал, что нужно устроить собрание комитета сейчас же, немедленно, что мы не можем идти «в хвосте» и т. д. Ганс слушал и утвердительно кивал головой. Когда я кончил и перевел дух, он подвинул к себе пепельницу и, стряхивая папироску, сказал:

– Да-а... Между прочим: последняя статья в «Фабрич-

⁶ Каутский, Карл (1854–1938) – один из лидеров и теоретиков германской социал-демократии и 2-го Интернационала, идеолог центризма.

ном Гудке»... Читали вы? Проклятые социал-демократы пишут...

Я не успел рассердиться, так как за дверью раздались тяжелые, мерные шаги и незнакомый голос спросил:

– Позвольте войти?

Болван Ганс, вечный книжный червь Ганс сказал: – «Войдите!» – раньше, чем я успел спрятать злополучного «Красного Петуха». Он так и остался лежать на столе, в раскрытой книге, и на обложке его крупными буквами было напечатано черным по белому: «Красный Петух»...

Что ж? Пусть входят чужие и смотрят, как повергаются в прах основные законы конспирации. Если Ганс желает когда-нибудь попасть впросак таким образом, – его дело.

Когда отворилась дверь и тихо, конфузливо улыбаясь, вошел молодой полицейский офицер, – я быстро развернул альбом с фотографиями и, глядя на усатое лицо какого-то господина, успел сказать:

– Что за пикантная женщина!

– Здравствуйте, г-н Гребин... – быстро, мельком оглядываясь, заговорил посетитель. – Собственно говоря, я вас побеспокоить пришел насчет маленького дельца...

Он нерешительно, неловким движением протянул руку, как бы опасаясь, что она повиснет в воздухе. Ганс густо покраснел и, растерявшись, пожал ее. В мою сторону полисмен ограничился чрезвычайно учтивым поклоном и продолжал:

– Видите ли – суть эта самая, так сказать, – такая... г-

и пристав просят вас пожаловать к нему сегодня. Вот повесточка... Будьте так добры – расписаться.

– Садитесь, чего же вы стоите? – процедил Ганс.

Небрежно, стараясь казаться беззаботным и непринужденным, он подвинул стул, и полицейский со словами: «Благодарствую, воспользуюсь вашей любезностью», – боком присел к столу. Раскрытая книга с номером «Красного Петуха» лежала перед его глазами. Я стиснул зубы, мысленно обливая Ганса ушатом отборной брани, и стал разглядывать посетителя.

У него было худое, продолговатое лицо, рыжеватые усики, часто мигающие светлые глаза и белые, коротко остриженные волосы. Одной рукой он механически дергал португальскую шашку, выпячивая грудь, другой уперся в колено и застыл так, рассеянно оглядывая стол. Через мгновение глаза его остановились на развернутой книге, метнулись и замерли, прикованные крупным, ясным заглавием журнала.

Взволнованный Ганс ожесточенно ткнул пером в повестку и прорвал бумагу.

– Леший! – вскричал он, – перо не годится. Не пишет. Дайте-ка ваш карандаш... Есть у вас?

Он повернулся ко мне и, пока я вынимал из записной книжки карандаш, полицейский смущенно перебежал взглядом с затылка Ганса на обложку журнала. Потом медленно, осторожно закрыл книгу и вытянул ноги, рассматривая потолок комнаты.

– Карандашиком, знаете, неудобно... – виновато протянул гость. – Уж будьте добры – чернильцами...

– Не искать же мне сейчас перьев, – недоумевающе буркнул Ганс. – Да и не знаю, где они. Как же быть?

– А вы... того... – оживился полицейский, улыбаясь и взглядывая на меня, – карандашик в чернильца обмакните и таким манером распишитесь...

– А ведь в самом деле! – рассмеялся Ганс. Затем он спросил:

– Зачем меня просят в участок?

– А... так, пустяковина. Насчет подписки о невыезде.

– А-а... ну, вот-с, получите...

Полицейский встал.

– Так до свидания, – сказал он, надевая фуражку. – Будьте благополучны...

– Вам того же...

Он вышел, тихо притворив дверь.

– Вот дубина! – сказал Ганс, подмигивая мне и весело потирая руки, – ведь тут около него лежал номер «Красного Петуха»! Вы взяли его? Я думаю, что он не заметил, а?

II

На другой день началась забастовка. Я проснулся рано, с смутным предчувствием наступающих событий, но ни тревога, охватившая меня в первую же минуту пробуждения,

ни сознание важности момента не могли уничтожить яркого, солнечного блеска и зеленого шума старых лип, смотревших в окно. Наскоро, обжигаясь, я выпил чай и вышел, охваченный жутью тревожной атмосферы.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.